

ВИКТОРИЯ КУЗНЕЦОВА

РЕЛИГИОЗНЫЕ СМЫСЛЫ А. ТВАРДОВСКОГО

(“Я убит подо Ржевом”)

В самом факте появления в печати в 1946 году известного стихотворения А. Твардовского, написанного по впечатлениям поэта на Калининском фронте в 1942 году, уже есть загадка. Цензура ли военного времени его не допускала в печать, сам ли поэт не спешил с публикацией – неизвестно...

Первая же строка, ставшая хрестоматийной, сразу задаёт тексту некую нереальность, условность: “Я убит подо Ржевом” – у этого “я” нет имени, отчества, фамилии, но это “я” говорит от имени погибшего воина именно здесь, на “Ржевском выступе” войны. Воин убит, но словно “вещает” из загробного мира. Это речь мёртвого – к живым, рассказ о том, как пришла его смерть, и перечисление подробностей её схоже со статистическим отчётом. Это монолог никому не известного человека. Безымяннен не только он, но само место его гибели, некое безымянное болото на карте военных действий, да он и не знает точного географического расположения своей части – вокруг нет ни населённого пункта, ни другого ориентира. Для солдата важнее помнить военные детали: “В пятой роте, на левом, при жестоком налёте”, именно их фиксирует его сознание, и именно они воссоздают явь происходившего. Это ориентиры общего характера, которые он мог видеть.

Героический пафос стихотворения в самом его начале поэтом намеренно снижен: убит воин не в открытом бою, а при авианалёте. И болото без названия, и вражеский налёт на него почему-то обыденно, нелепо жесток – эти “причинные” приметы гибели словно скрывают какую-то непонятную военную драму.

И вначале сдержанная сухость констатации факта перерастает в следующих двух строфах в ничем и никем, никакой “цензурой”, не сдерживаемое чувство личной трагедии произошедшего:

*Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки —
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна, ни покрывки.*

Смерть пришла к нему внезапно, не исключено, что даже во сне. И этот конец жизни устрашает его этой своей обречённостью: всё произошло почти мгновенно, внезапно, и никто об этом не узнает: он просто “пропал без вести”. Его не положили в гроб, не предали его тело земле, не упокоили кости. Он возвратился в пространство земли в хаосе, без какой-либо последней человеческой заботы. И эти слова “ни дна, ни покрывки”, имеющие в обиходе некое мистическое, заклинательное значение, он со скорбью переосмысливает и адресует своей безвестной судьбе.

*И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки,
С гимнастёрки моей.*

Этому миру — эсхатологически — до конца его дней — убитый, можно сказать, исчезнувший в небытие воин не оставил никому никаких примет своего существования: ни гимнастёрки, ни петлички, ни лычки: уже никто и никогда не узнает, кто он был, в каких войсках служил, кто был по званию. И вот от человеческой жизни, от его, по-видимому, напрасной смерти, горькой судьбины не остаётся НИЧЕГО. Только пустота пропасти, куда он вошёл и канул. Он стал тенью, он без вести пропавший, его нет теперь ни среди живых, ни среди мёртвых.

Воин остаётся воином, и он продолжает стоять там, где поставлен на посту, стоически утверждая и возвышая свой голос, всё же пытаясь определить “место” своему телу в земле, а душой поднимаясь в неземную явь. И его голос из другого мира приобретает метафизическое звучание, всё это вмещено поэтом А. Твардовским в одно большое предложение:

*Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;*

Он чувствует себя жертвенным телом, “растворённым в земле”, он становится просто кормом для корней, и оттого из его крови и плоти позже взрастёт урожай. Его тело уже стало тем зерном, которое, по Евангелию, умерло, чтобы стать колосом, продолжиться в новом, ином качестве. Да, он теперь под землей, в персти земной, но вместе с тем и над ней, в воздухе и звука сельского и городского мира. Теперь его существом пронизано всё мироздание, весь человеком и Богом созданный космос жизни:

*Я — где крик петушиный
На заре по росе;
Я — где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;*

*Где травинку к травинке
Речка травы прядёт, —
Там, куда на поминки
Даже мать не придёт.*

И строфы, идущие друг за другом, и эпитеты контрастируют друг с другом: “корни слепые — во тьме”, но рожь с облачком пыли не просто “волнуется”, а “ходит”. Космическим, природным динамизмом отмечена вся эта часть стихотворения, определяющая пространство. И этот метафоричный, высокий, красивый строй отдельных частей предложения в его конце неизбежно заострён и замкнут на ту же печаль, он итожит человечью драму и боль: а ведь погибший — чей-то сын, раз мать — сюда — на поминки — всё равно не придёт, прийти не сможет. Это образ страдающей, не нашедшей покоя души. И куда же делись тело и душа “исчезнувшего”, без вести пропавшего: корни — “ищут”, рожь — “ходит”, петух — “кричит”, машины — “рвут воздух”, речка — “прядёт”?

И в следующей строфе уже от того “непокоя” он будто кричит, повышая тон на предельную громкость, он хочет быть услышанным:

*Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград?*

Солдат намеренно хочет отослать нас к военной хронике? Или хочет сказать о чем-то большем? И это не просьба, не вопрос лишь, но утверждение видимой только им, единой большой фронтовой полосы “Ржев–Сталинград”. И там на одном его конце – громко “озвученный” подвиг города с “громким” именем вождя, а на другом – безвестные жестокие бои и людские потери в безвестных болотах. Фронт для бойца – ещё и единая большая рана на теле земли: “Фронт горел, не стихая, как на теле рубец”. Он будто воспаряет над смертью, над пространством, и снова вопрошает живых, не зная ещё точно (в июле 1942-го!) исхода сражения. В его вопросе – сожалеющая тревога за маленький город:

*Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев, наконец?*

Военная история даёт нам сегодня бесчисленные свидетельства к этому вопросу “наш ли, наконец?” Как у фашистов “Ржев – трамплин на Москву”, “Ржев – краеугольный камень Восточного фронта”, так и неоднократно приказы Ставки “бомбить”, “взять не позднее такого-то числа”.

Герой стихотворения А. Твардовского ясно понимает, что исход войны решается сейчас – летом 1942 года. И он, убитый, словно продолжает воевать в одном строю со всеми, ему важно знать: “Удержались ли наши, там, на среднем Дону?..” Он чувствует эту всеобщую связанность событий. Это все для него один фронт: Ржев– Средний Дон–Волга (Сталинград).

*Этот месяц был страшен,
Было всё на кону.*

Нет никаких “безвестных”, отдельно взятых боев отдельных воинских соединений, есть только одно “всё на кону” – общее для всех.

*Неужели до осени
Был за ним уже Дон,
И хотя бы колесами
К Волге вырвался он?*

В период ожесточённых боев и отступлений И. Эренбург писал: “Немецкие танки прорвались к степям Средней России... Отгоните немцев от Дона!” В июле создаётся фронт за фронтом, возникают новые направления боевых действий. Но остановить врага не удастся, наши войска ведут тяжёлые бои и отступают. Враг силён и страшен. 28 июля обнародован приказ Сталина № 277 “Ни шагу назад!”. Никто не знал, что будет дальше.

И в стихотворении пульсируют эмоции вопросов и восклицаний:

*Нет, неправда. Задачи
Той не выполнил враг!
Нет же, нет! А иначе
Даже мёртвому — как?*

И тут впервые “я” сливается с “мы”, со всеми павшими за Родину. И поэт доносит нам их смирение судьбе: “На земле на поверке выкликают не нас. Нам свои боевые не носить ордена”, и сердечен их всё продолжающийся диалог с живыми:

*Что недаром боролись
Мы за родину-мать.*

*Пусть не слышен наш голос —
Вы должны его знать.*

И вот просто “мать” в начале стихотворения становится Родиной! Вот какая мать — не придёт к ним на поминки в безымянное болото. Смысл родства здесь иной. И вот за неё-то, за Родину-Жизнь, за продолжение рода и нужно было им умереть — такой ценой её спасти. И именно эти-то узы родства порождают невидимую связь мира живых с миром мёртвых, и только потому и возможен здесь диалог, иначе это будет либо сеансом спирита, либо насмешкой атеиста. Эта священная война была очень религиозна по духу. И не случайно позже появляется обращение “братья”:

*Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мёртвых проклятье —
Эта кара страшна.*

Души убитых братьев завещают, заклинаяют и обязывают братьев живых. Они звучат так, словно духи славянских мёртвых воинов разговаривают с живыми в капище. И потому “безвестье”, “неназванность” становятся относительными, приобретает мнимость вышеупомянутая “пропасть беспамятства”.

Следующая строфа — словно неожиданный разрыв гранаты — возвращает в лето сорок второго, к парадоксальному “Я зарыт без могилы”, к трагичности произошедшего, к неповторимой, единственной человеческой жизни и судьбе. Это не голос отчаяния того, кто пал напрасной жертвой, кто был “проклят и убит”, нет. Это голос религиозного человека, через смирение — первую ступень добродетели — обретшего спасение души, равно как и спасительное знание о чем-то большем, сокровенном, не выговоренном ни в официальных сводках Совинформбюро, ни в эмоциональных плакатах и фильмах:

*Всем, что было потом,
Смерть меня обделила.
Всем, что, может, дано
Вам привычно и ясно,
Но да будет оно
С нашей верой согласно.*

Там, за чертой смерти, душа знает о том подлинном большем, что объединяет весь народ в этой священной войне — “наша вера”. Это и нравственные критерии, привычность и ясность которых стала теперь выверена именно войной, борьбой за родину-мать. И павший утверждает живых, воюющих, именно в этой — общей, вере.

Но он не знает и не может знать того, что же было потом, после его гибели, с фронтом, со страной. Ему в этом высшем мужественном смирении видится некая предельная точка войны, этого противостояния, когда уже могут быть потеряны и Москва, и Дон, и Волга.

*Братья, может быть, вы
И не Дон потеряли,
И в тылу у Москвы
За неё умирали.
И в заволжской дали
Спешно рыли окопы,
И с боями дошли
До пределов Европы.*

Умирать за Родину — разве это пораженчество? В интонации строф — суровый и горький стоицизм, мужество русской самоотверженности и русского духа. Это понимаешь только тогда, когда осознаёшь, что “до предела Европы” — это значит до Уральских гор. Ещё было куда отступить и было за что драться. Даже если бы и пришлось отступить так далеко — русский солдат всё равно бы дрался! И следующие строки звучат подлинным реквиемом русскому

отступлению начала войны. Именно Урал, не Москва, видится ему той “последней пядью на дороге военной”, после оставления которой “шагнувшую вспять ногу некуда ставить”:

*Та черта глубины,
За которой вставало
Из-за вашей спины
Пламя кузниц Урала.*

И павший солдат в своём предчувствии победы, когда врага, наконец, повернули на Запад, назад, спрашивает: “Может быть, побратимы, и Смоленск уже взят?” Его душа будто не знает и не может знать покоя, пока идёт эта война.

*И врага вы громите
На ином рубеже,
Может быть, вы к границе
Подступили уже!
Может быть. Да исполнится
Слово клятвы святой!*

Текст военной присяги в документах военного времени нигде не называется “святым”. А. Твардовский вновь усиливает звучание религиозности происходящего: это не просто присяга, а именно сакральное действие – клятва, она святая, и её слова непременно потому должны исполниться. Главное в текстах клятв тех дней – то же чувство кровного родства и готовность принести свою жизнь в жертву. Это ли не исповедание Христа, не готовность, пусть даже и мученически, пострадать за Него? Да и в самих солдатских “записках” перед атакой, перед боем “прошу считать меня коммунистом” не та ли же вера?

Но павшим дано только чувствовать сердцем этот, возможно, уже происходящий, поворот войны и позже – Победу. И вот воин скорбит лишь о том, что залпы победные не могут – хотя бы на миг – воскресить их, навеки “глухих” и “немых”, что “Если б мёртвые, павшие, // хоть бы плакать могли!” Речь идёт о слезах радости:

*О, товарищи верные,
Лишь тогда б на войне
Наше счастье безмерное
Вы постигли вполне.*

Здесь и предчувствие христианского воскресения из мёртвых в Соборном Богочеловеке, и “безмерное” умножение райской любви, до времени скрытое от всех.

Война соединила и “сравняла” жизнь и смерть – миры, обычно разделённые чёткой границей. Для братьев “нет различья”: “Те, что живы, что пали – были мы наравне!” В этом мистическом равенстве неуместны упреки живым воинам, какой-либо их “долг” и чувство их вины за произошедшее. У них одна сверхзадача: за “дело святое”, за Родину, “шагом дальше упасть”.

Концовка стихотворения является также “заветной”, сходной с древнейшим ритуальным “приказом долго жить”, воин также завещает “жить” и жить “по заповедям”: и родимой Отчизне служить, и “горевать горделиво (о павших), и “ликовать не хвастливо” (о Победе):

*И беречь её свято
Братья, счастье своё —
В память воина-брата,
Что погиб за неё.*

Это завет возвышенного счастья, которое невозможно без служения Родине. Это счастье самоценно, и эта Отчизна происходит от святого слова “Отец”, того самого, что пишется с большой буквы. Это святость святой

памяти, образа того воина-брата, что отдал, согласно христианским представлениям, жизнь за други своя, ибо “Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих” (Иоанна 15:13).

Среди пяти названных городов Ржев–Берлин–Смоленск–Сталинград–Москва в стихотворении “Я убит подо Ржевом” территория Ржевского выступа и сам Ржев возникают не только как заглавное географическое поле битвы войны, но и как судьбоносное. И вот об этой “точке кипения”, этом жесточайшем апогее Второй мировой войны было написано стихотворение, отозвавшееся в народе не меньшим эхом, чем “Жди меня” А. Симонова. Да и само стихотворение, с множеством риторичных вопросов, повторов и возвратов к самой сердцевине и боли войны, звучит как властное слово на некоем народном вече.

Поэту А. Твардовскому удалось сказать здесь о тех смыслах жизни и смерти, о которых в атеистическом государстве говорить было не принято. И на этом “вече” он провозглашает народ как одно целое, исторически единое, не поделённое на “здесь” и “там”, “живых” и “умерших”, что возводит нас к христианскому образу Вселенской Церкви, где у Бога все живы. Поэт проводит героя стихотворения через душевные мытарства “я-безвестности” в его начале к просветлённой цельности упокоения в “мы-родстве”, в “мы-памяти” в конце. Раз душа убитого может говорить, значит, душа существует! Равно как и связь между живыми и погибшими. Поэтические интуиции поэта оказались более глубоки, чем это представлялось ранее, они черпают смыслы из тех первородных глубоких вод, которые питали всё человечество во все века.